



<Архиепископ АНТОНИЙ>

Ответное письмо архиепископа Антония Н. А. Бердяеву о «Вехах»

О Церкви и духовенстве
(Московский еженедельник, август, № 32)

Ваше доброе и искреннее письмо, многоуважаемый Николай А-ч, принято моим сердцем с радостным сочувствием, и теперь я более всего озабочен тем, чтобы дальнейший обмен мыслей послужил к выяснению, а не затемнению наших убеждений и стремлений. Не так-то это просто. Пишем мы по-русски, пишем грамотно, а читаем обыкновенно не то, что написано, а то, что хотел скрыть от читателей автор. Словом, друг другу люди окончательно перестали верить, особенно со времени революции; правда, и раньше сетовал на эту трудность понять друг друга достопочтенный Кавелин в какой-то статье своей по поводу «Братьев Карамазовых»¹, которую я читал в самой ранней молодости и до сего дня не могу забыть. Итак, прошу вас и ваших единомышленников прежде всего о том, чтобы вы читали мои слова и строки, а не между строк. Из вашего письма видно, что вы пишете не столько Антонию, вас приветствовавшему, сколько Антонию левой прессы, которая, широко пользуясь тем, что я не оправдываюсь в взводимых ею на меня клеветах, нарисовала, действительно, довольно определенный тип, связанный с моим именем, но отнюдь не с моей личностью.

Ваши и П. Б. Струве запросы к Церкви, точнее, к духовенству, запросы, недоумения и сетования, которые, по вашему мнению, разделяет вся интеллигенция, касаются принципов и фактов. Оба вы одобряете отвлеченное учение Церкви, не протестуете вовсе против ее верований, но негодуете на те практические устои и приемы, которыми действует высшая церков-

ная власть и большинство духовных лиц в современной поместной русской Церкви, вопреки действительным принципам истинной Церкви Христовой, православной: оружия последней — любовь, подвиг и поучения, а первая действует будто бы только оружием мирским — принуждением, даже казнями, а нравственного воздействия на жизнь не оказывает. О такой несоответственности между злобствующим принуждением и сострадательною материнскою любовью вы и П. Б. Струве пишете очень горячо и много, но почти не указываете на то, в чем именно сказывается злобное настроение церковного представительства. Я охотно допускаю, что вы это делаете по деликатному чувству, не желая нарушать дружеского настроения переписки, но обыкновенно подобное настойчивое развитие несомненных, прямо азбучных истин применяется нашими обвинителями из нецерковного лагеря тогда, когда у них нет данных для действительных, фактических обвинений или для прямого обоснования своих собственных принципов.

Нужно, например, оратору на сходке доказывать преимущество конституции — он о ней ничего не говорит, но с жаром развивает несомненную истину о пользе просвещения. Или вот хоть на предсоборном присутствии — либеральное меньшинство, желая настоять на необходимости полного уравнивания на будущем соборе, и даже в преобразованном синоде, иерархов и мирян, уцепились за слова апостола Павла: «Не скажет голова ногам — вы мне не надобны»² и с пеной у рта кричали, что в Церкви должна быть любовь «и только любовь», а как отсюда следует равноправие — этого не пояснили. Они не успокоились даже и тогда, когда им было указано, что именно на приводимых словах апостола Павла и их истолковании св. Григорием Богословом IV Вселенский Собор³ требует, чтобы миряне не учили, а слушали, не управляли, а повиновались (64 прав.). Им оставалось признать, что либо древняя Церковь никогда не знала любви, а открыла последнюю в Законе Божьем только предсоборная оппозиция, либо — что их рассуждения о любви не имеют никакой связи с их тенденцией, а слова апостола Павла прямо противоречат последней.

Повторяю, у вас я нахожу другое, именно доброе, мягкое чувство, соединенное с опасениями огорчить и обидеть: однако, ценя вашу доброту, я все-таки предпочел бы большую определенность, чтобы иметь возможность прямо отвечать на прямой вопрос. Впрочем, перейдем к делу. Если наше духовенство, высшее и рядовое, исполнено злобной ненависти к революционерам, если оно отказалось от всяких попыток действовать на

них убеждением, если оно настолько изверилось в людей, что признает силу только за принудительными мероприятиями и смертными казнями, то, конечно, такому духовенству я прежде всего посоветовал бы оставить апостольское служение, принятое им так некстати, — и даже отречься от той религии, с которой оно связало себя вопреки своим наличным убеждениям. Оно злобствует, по вашим словам, не менее революционеров, даже более их. Там опрокидывались и осквернялись св. престолы в храмах, наклеивались папиросы к ликам чудотворных икон, сжигались усадьбы, истреблялись тысячи невинных семейств, деморализовались войска в Маньчжурии, злорадствовали и ликовали в России о наших поражениях японскими войсками⁴, устраивались лиги любви в гимназиях, раздавались детям богохульные и эротические брошюры. О, конечно, если мы превосхитили даже такую степень человеконенавистничества, то тут нет места увещаниям и сетованиям, а надо просто требовать пред высшим судом вселенских патриархов общего интердикта⁵ на русское духовенство и замены его другими служителями Бога и Церкви.

Я не думаю так ни о русском Синоде, ни о русском духовенстве. Однако если встречаю среди него лиц, которые относятся к жизни и к людям по воззрениям упомянутого вами писателя Леонтьева, то я крепко негодую. С леонтьевскими принципами я вел полемику еще в 1893 году и сужу о них и об их выразителях гораздо строже, чем вы, Леонтьев, Катков, Победоносцев и значительная часть членов «Русского собрания» и главарей «Союза русского народа» очень резко различаются от другой части этих учреждений и от первых славянофилов, также от Достоевского и Рачинского⁶.

Правда, те и другие держались за николаевскую идейную триаду⁷, те и другие объединяются в одни и те же общественные учреждения, но между их убеждениями и симпатиями лежит огромная пропасть. Первым дорого православие не потому, что оно есть Божественная истина, принесенная на землю Спасителем мира, а потому, что оно составляет главный, и весьма благородный, устой русской гражданственности, русской государственности; по этому же способу оценки они дорожат народностью, ценят русский патриархальный быт и чистоту русского языка; самим самодержавием они дорожат не по тому этическому превосходству этой формы правления над правовым началом, что отмечали славянофилы, а потому главным образом что, по их справедливому убеждению, колосс русского многоплеменного царства непременно распадется при консти-

туции или республике. Их абсолютизм, выше которого они не шли (исключая Леонтьева в его личных, а не общественных стремлениях), это преклонение пред огромным, растущим великаном русского государства. В этом смысле они были европейцы или, что то же, римляне, не знавшие ничего выше своей *salus reipublicae*⁸. Петр Великий, убивший русскую церковно-народную культуру, был для К. П. Победоносцева вовсе не отрицательный тип; обезглавление Церкви этим государем Победоносцев признал «вполне законным» в своей записке Синоду весною 1905 года, а постановления <...> * Вселенских Соборов <...> * именовал (там же) «древними византийскими канонами», т. е. не голосом Св. Духа, а как бы распоряжениями официальной власти. Вселенской Церкви, веру в которую мы исповедуем ежедневно вместе с верою в Пресвятую Троицу, для таких мыслителей не существовало: они знали «нашу русскую, народную, православную Церковь».

Иначе смотрели Хомяков, Киреевский и Достоевский. Они дорожили не столько формою, сколько содержанием русской жизни, не потому, что оно русское, а потому, что оно святое, Божие. Они тоже дорожили самодержавием и народностью, дорожили целостью России и ее политическим могуществом. Вот почему по многим вопросам они оказывались в одном лагере с русскими римлянами. Но они дорожили формою как сосудом, в котором хранится прекрасное вино, при разбитии сосуда выливающееся на землю. Абсолютизм для них был не внешний, а этической, религиозной (*sic!* — В. С.). Они утверждали, что хранимое Церковью учение Христово воплотилось в устои народного быта, а этот быт и, с другой стороны, и самые церковные учреждения, охраняющиеся самодержавною властью, при всяком другом виде правления будут не охраняться, но преследоваться. Поэтому они дорожили самодержавием и ненавидели русский политический либерализм не по существу, а потому, что русским либералам ненавистны <не> злоупотребления властей (как либералам заграничным), даже не самые власти, а ненавистна сама Русь, ненавистен христианский склад ее жизни и народных понятий. — Не правда ли, эти мысли Достоевский высказывает буквально словами своих героев в «Идиоте» и прямо от себя в «Бесах», когда описывает впечатление публики от речи помешанного профессора, поносившего Россию?⁹

* Текст газеты поврежден. — *Сост.*

Вы, многоуважаемый Н. А., утверждаете, что именно отступление духовенства от своего высокого призвания удерживает интеллигенцию от возвращения в Церковь. Это справедливо, увы, об очень немногих. Ведь неудовольствие на духовенство (в вашем духе) начало сказываться лишь в 1906 году осенью, и затем в 1907 году и следующих, а в 1905 и в первую половину 1906 года на духовных отцов негодовала интеллигенция в совершенно противоположном духе: за их безучастие к политической жизни «проснувшегося» народа, за их нежелание «идти стезей св. Филиппа и Златоуста», т. е., короче говоря, за их неучастие в революционном движении. А до 1905 года? Тогда отношение духовенства к жизни государственной не ставилось ему в счет: что же тогда удерживало интеллигенцию от Церкви? — Увы, то же, что и теперь: то, на что указывает приведенное изречение Достоевского.

Впрочем, это касается не одних политических либералов; эти только последовательнее: ненавидят христианство, а потому ненавидят и страну, которой быт проникнут христианскими началами, и стараются заменить их началами европейскими, т. е. языческими. Консервативные элементы общества, расходясь так резко с либералами во взглядах политических, мало разнятся от них в отношении к Церкви. Тут, Н. А-ч, не отступление духовенства виновато, а повторяется обычная картина жизни: языческий вельможа Фест начал охотно слушать ап. Павла, но, когда он стал говорить ему о воздержании и о будущем суде, то Фест испугался и сказал: «Теперь пойди, а когда будет время, я позову тебя»¹⁰. Не напрасно сказаны слова Христовы: «Легче верблюду пройти в игольные уши, чем богатому в Царствие Небесное»¹¹. Вы пишете: интеллигенция мучится, страдает о своем разобщении с Церковью. Это справедливо о вас, о ваших единомышленниках, а когда я читаю об этом у Розанова и Мережковского и подобных, то припоминаю читанную еще в детстве повесть Кохановской «Из картинной галереи семейных портретов»¹². Там выводится тип русской деревенской помещичьей дочери, здоровенной, доброй и веселой девушки, которая каждый день, являясь к отцу пожелать доброго утра, должна была наклеивать на лицо две мушки: одну к щеке, а другую к подбородку; первая мушка означала — влюблена, а вторая — страдаю; девушка вовсе не была влюблена и нисколько не страдала, но не смела отставать от хорошего тона своей эпохи и должна была возлагать на себя эту дань моде. Таковы же страдания, терзания и мучения нашей интеллигенции о своем удалении от Церкви; поверьте, она бы не удаля-

лась от Церкви, если б удалялась от «Аркадий, Ливадии, Марцинкевичей, Яров, Монплезиров»¹³ и т. д.

Признаваться во всем этом, конечно, неловко, ну и повторяют вслед за газетами, что духовенство или слишком безжизненно, или оно слишком аскетично, или, напротив, жизнелюбиво.

Однако я не отрицаю, что мы, духовные, должны и для немногих искренних людей делать все, чтобы рассеять их недомыслия: разъяснить то, чего они не могли понять, и исправлять себя во всем, в чем нас зазирают справедливо. Но прежде чем прийти к фактической стороне вашего письма, позвольте заметить, что любимый вами В. С. Соловьев был по своим церковным взглядам ближе к Леонтьеву и Победоносцеву, нежели к славянофилам. В своей брошюре «Россия и Вселенская (т. е. римская) церковь»¹⁴ он не раз просказывается, что активное строительство жизни принадлежит государству, и поэтому настаивает на необходимости светской власти пап и уже затем на ее непогрешимости.

Это первое примечание, но вы мне можете сказать и вот еще что. «Ты заявил себя против государственного направления церковной жизни, но не оправдал в том духовенства, а просто голословно не согласился с обвинениями». Но ведь и обвинения-то не имели фактического характера, кроме трех пунктов, к которым мы сейчас перейдем. Что духовенство наше, как учреждение сословное, довольно индифферентно, что по этой же причине в нем мало личностей выдающихся, горячо одушевленных, красноречивых и творчески философствующих, это все так, но ведь именно сословный характер нашего духовенства служит ему и оправданием во всем этом. Зато у нас мало религиозных фокусников, мало гимназистов в рясе, мало людей заведомо преступных.

Вам кажется, что духовенство вовсе не функционирует в качестве нравственного руководителя христиан. Это было бы очень печально, если бы было верно. Но, простите, ведь этих функций наша печать, наша интеллигенция никогда не заметит. Она интересуется только гражданскими выступлениями нашего духовенства, и немудрено, что ей кажутся наши духовные отцы политиками. Ведь, наверно, все итальянские приказчики гастрономического магазина считают русских любителейми устриц, потому что нелюбители к ним не пойдут; по той же причине и греки, торгующие в губочном магазине, считают всех петербуржцев любителями губок.

Неприятно говорить о себе, но если вы спросите кого-либо близко и давно меня знающего, чем наиболее заинтересован такой-то, то вам скажут — монашеством, преобразованием церковного управления, патриаршеством, общением с восточными церквами, борьбой с латинством, преобразованием духовной школы, созданием нового направления православного богословия, единоверием, богослужебным уставом, славянофильством, православием в Галиции, восстановлением в Овруче разрушенного в XV веке Васильевского собора, построением в Почаевской лавре теплого собора в стиле Троицкого собора Сергиевской лавры и т. д., и т. д. Но никто не назовет вам в числе моих важнейших интересов юдофобства или достоуважаемого «Союза русского народа». При всем том о моих действительных интересах, которым я посвятил все сознательные годы моей жизни, о моих богословско-философских трудах, известных и в Германии, и в Италии, о моей интернациональной церковной деятельности никто у нас не знает, а о деятельности политической знают гораздо более, чем я сам. У меня-де в Петербурге собираются союзники для обсуждения Дубровинского инцидента, я поднимаю в Синоде агитацию для протеста против вероисповедных законов в Думе, я настаиваю на увольнении со службы профес<сора> Киевс<кой> акад<емии> Петрова за то, что он не уступил мне из археологического музея старинной картины какого-то святого Якуба, замученного жидами, — чтобы носить ее с Почаевскими монахами по деревням Волыни и призывать к погромам и т. д. — Канцелярия Синода несколько раз помимо меня сообщает в Осведомительное Бюро, что все подобные известия сплошной вымысел, но левая печать как ни в чем не бывало продолжает их повторять, не желая знать о том, что, напр<имер>, думских дел я никогда и не читаю, и когда о них говорят в Синоде, не принимаю участия по пословице: «Снявши голову, по волосам не плачут». Однако Дума 1906 года интересовалась мною больше, нежели я ею. С негодованием «повторялись» выдержки из моей «яростной речи» в Государственном Совете «в защиту смертной казни», касательно которой я никогда не открывал рта, ни прямо, ни косвенно. О евреях я говорил и отпечатал поучение 1903 году (против погромов), благодаря которому на Волыни не было в том году погромов, облетевших весь юго-западный край; в 1905 году на 6-й неделе Великого поста евреи расстреливали за Житомиром портреты Государя и были за это побиты жителями предместья; за день до Вербной субботы прибыл я из Петербурга и на Страстной седмице сказал опять речь против погрома, гото-

вившегося в первый день Пасхи. Погром этот не состоялся, и лишь после убийства еврейским наймитом популярного пристава Куярова в Фомино воскресенье вечером, когда я выезжал из Житомира в Петербург, начались драки с евреями, которые потом говорили, что «правительство нарочно вызвало нашего архиерея в Петербург, потому что пока он был в городе, то нас не били»; в 1907 году я напечатал в газете, а потом <выпустил> брошюрой статью «Еврейский вопрос и св. Библия», которую теперь переиздаю на еврейском жаргоне. Все это, однако, не мешает либералам обо мне печатать, что я хожу с крестными ходами для возбуждения погромов. Между тем всякие погромы прекратились на Волыни с тех пор, когда образовался Почаев<ский> союз рус<ского> народа в 1906 году.

Впрочем, насколько у нас мало дорожат истиной, это видно из того, как можно исказить мою речь на предварительном заседании Государственного Совета за несколько дней до его открытия. Подняли вопрос об амнистии политическим преступникам. Я заявил, что, помимо всего прочего, это так неблагородно становиться в дешевую и неотвечественную роль заступника перед Государем и ставить его в тяжелое положение карателя, что я глубоко возмущаюсь таким начинанием Государственного Совета своей деятельностью, начинанием неискренним и недостойным, что если подобное ходатайство состоится, то в тот же день выйду из его состава, хотя мой родной брат инженер Борис Павлович Храповицкий пятый месяц сидит в тюрьме по политическому делу, и притом по недоразумению, а не за действительный проступок. Я тогда нарочно назвал брата по имени, потому что предвидел, что газеты не постесняются исказить мою речь, а из двухсот моих слушателей никто не заступится за истину. Мое ожидание меня не обмануло: речь была извращена в печати так: «...хотя бы мой брат или сын попал в тюрьму за политическое преступление, я бы и тогда...». Тут, конечно, три оскорбления: монаху считать родственников наиболее для себя близкими людьми это так же предосудительно, как неделикатно в таких серьезных делах ссылаться на случаи жизни, только возможные, а не действительные («если бы мой брат...»). Не говоря уже о том, что честному монаху так же невозможно иметь сына, как тому столу, на котором я пишу. Но что же? На меня набросились не только мелкие литературные собачонки, но и талантливейший прекрасный наш писатель Тимковский¹⁵ вменил себе в обязанность целиком перепечатать эту пошлую клевету в открытом ко мне письме, чрезвычайно ругательном и грубом.

Итак, если общественное мнение о наиболее известных (печатной знаменитости) духовных лицах складывается таким фальшивым способом, то насколько соответствует истине общественное мнение о духовенстве вообще, которое бранить и чернить огулом гораздо легче, чем отдельных личностей? Я остановился на моментах автобиографических не только в качестве примера для этой общей мысли, но и потому, что прочел и в ваших, и П. Б. Струве строках запрос, обращенный лично ко мне, но ради деликатности распространенный на иерархов вообще. С себя же я начну по вопросу, быть может, всего более вас интересующему, по вопросу об отношении к «Союзу русского народа». Я нисколько не стесняюсь давать вам да и всякому искреннему человеку разъяснения по личной жизни. Мы, духовные, жизни частной иметь не можем, а у нас все личное, свое должно быть на отчете пред христианскими и даже нехристианскими обществами, и ни о какой стороне своей жизни я не позволю сказать, что до нее нет никому дела, — лишь бы запрос был искренний. «Не может укрыться град, вверху горы стояй»¹⁶, сказано служителям Христовым, а епископ по апостолу должен иметь доброе свидетельство и от внешних, т. е. неверующих.

Вот почему, отвечая в продолжение четырех лет полным молчанием на заявления сознательных клеветников, я с полною готовностью подробно отвечаю на ваш искренний запрос. Правда, запрос предложен духовенству в форме довольно обидной: зачем оно в большинстве благоволило к «Союзу русского народа», который есть преступное служение ненависти, злобе и убийствам? Выходит, что такая характеристика «Союза» общепринятая, что мы погрешаем не тем, что не можем раскусить преступного и противохристианского значения «Союза», но участвуем в этом отвратительном деле сознательно. Николай Александрович, да стоило ли вам и отвечать одному из таких мерзавцев, который, нося священный сан и монашеский чин, участвует чуть не в шайке «Червонных валетов», или в компании грабителей Чайкина, или в Ашиновской банде.

Да, я член русского собрания с 1901 года, когда оно еще не было на таком плохом счету у наших либералов, и с тех пор не встретил причин к выходу из него, а из Государственного Совета я выбыл, лишь только окончились мои обязанности по Синоду, задержавшие меня в Петербурге, как я и заявил, докладывая Синоду о своем согласии принять на себя такое звание — лишь на то время, пока меня будут удерживать вне своей епархии церковные обязанности.

На днях мои отношения к русскому «Союзу» скрепились избранием меня в почетные председатели «Почаевского союза русского народа», насчитывающего полтора миллиона членов.

Что же это за «Союз»? Читающее общество, и печать, и вы, многоуважаемый Николай Александрович, ничего об этом не знаете, хотя, простите, изощряетесь в грозных прещениях¹⁷. Я вам отвечу. Это есть первое и единственное пока во всей России чисто народное, мужицкое, демократическое учреждение. Ведь все толки в печати, и в Думе, и в Государственном Совете, и на митингах, все сентименты и ламентации о народе ведь это сплошное лицемерие. До народа у нас нет никому дела. Вся наша революция, и конституция, и четыреххвостка¹⁸, и все свободы — все это дело господское, господский спор, господская забава. «Оставьте этот спор славян между собою, домашний старый спор»¹⁹, замените слово «славян» словом «господ» или «интеллигентов» — и двустишие Пушкина найдет себе полное применение ко всей нашей и политической, и литературной жизни. Помните еще четверостишие в «Дневнике писателя» Достоевского:

Конституцию мы эту
Из Европы перейдем,
Поведем Царя к ответу,
А народ опять скуем²⁰.

Не могу <не> припомнить еще одной чрезвычайно искренней оговорки другого либерального поэта, за которую он впоследствии, вероятно, терпел укоры как за бестактное нарушение партийной дисциплины: он смотрит на крестьян в церкви.

О чем воздыхают те жалкие люди?

.....

Покорностью дышат их впалые груди.
О, как ненавистны вы мне!

Вот тут без лицемерия просказался русский либерал, и, конечно, все левые писатели и ораторы на думской или университетских трибунах в душе смакуют это четверостишие, да вслух-то сказать его неудобно в виду черносотенцев. Но к делу. «Почаевский союз» это, собственно, архимандрит Виталий. Кто он? Он кандидат богословия 37 лет, бывший преподаватель духовной семинарии, принявший монашество еще студентом, а теперь уже седьмой год трудящийся в Почаевской лавре в скромном звании заведующего типографией при 600 руб. дохо-

ду в год, в маленькой комнате без мебели; прошлым летом он прошел пешком около 900 верст с проповедью, да и дома в лавре всегда беседует с приходящими крестьянами либо пишет статьи для «Листка», худой, почти чахоточный, никогда не смеющийся, но часто плачущий. Еще в 1905 году я настойчиво приглашал его в ректоры нашей семинарии, на генеральское положение, но он отказался, а теперь он был бы архиереем, если б изъявил согласие оставить свой Почаев и свой «Союз». Что же его привлекает к этому учреждению «злости и ненависти»? Честолюбие? Корыстолюбие? Как видите, нет. А что тянуло к этому «Союзу» о. Иоанна Кронштадтского? — Вот вы упоминаете о пр. Серафиме Саровском, и П. Б. Струве упоминал о св. Филиппе и Ниле Сорском. Скажите откровенно, сомневаетесь ли вы в том, что все бы они оказались на стороне русского «Союза», если б жили в наше время? Ведь все они имели воззрения монархические, конфессиональные, все ревниво оберегали народ от иноверцев и иностранцев. А патриарх Еморген? А Авраамий Палицын? Дионисий? Да и самое название черносотенцев откуда взято как не от защитников Сергиевой лавры, прозванных так поляками в 1612 году?²¹

Так вот отчего бы вашим корреспондентам, чем зарабатывать себе пропитание на гнусной клевете, не поинтересоваться тем загадочным явлением, что «разбойною шайкою» русского «Союза» руководила такая личность, как архимандрит Виталий. Знаю, что газетная дисциплина строже служебной. Многие писатели рады исповедать Христа, но «бояхуся, да не от сонмищ изгнани будут». Скажи слово, а тут двери покажут, останешься без заработка, а жена и дети есть просят, вспомнишь печальную, хотя и прекрасную повесть Тимковского «Жалованье», да и поневоле потянешь свою либеральную погудку, хотя и чувствуется, что врешь на каждом слове. Но тут-то нужна была не оценка, а фактическое описание жизни «Союза».

Что он делал? Что делал о. Виталий? В 1906 году обличал революционеров и удерживал народ от поджогов; в 1907 году закупал в Сибири хлеб для голодавшей Волыни и тем понудил евреев не только прекратить быстро возраставшую нагонку цен на рожь, но и понизить цену на 18 коп. с пуда; в это же время все начали основывать союзные потребительные лавки и русские мастерские; в 1908 году он взялся за переселенческое дело, нахлопотал союзникам земель в Забайкалье и Приамурье; еще раньше устроил в Почаеве юридическую консультацию по делам судебным, общества трезвости и проч.

Вот приезжайте к нам в лавру, приходите к ее проповеднической кафедре, когда он под открытым небом с каменного амвона часа по три в день увещевает пятитысячную толпу народа. Посмотрите на эти лица, на эти взоры, с уверенностью и отрадой устремленные к своему единственному у нас печальнику, заступнику и учителю. Потом не скажете, что у нас союз ненависти и злобы, а напротив, единственный на Руси союз народной помощи, помощи нравственной, юридической, экономической... Но зачем там борются против еврейского полноправия, против вероисповедной свободы? Допустим на минуту, что это ошибка, минус на прекрасном здании народного дела, но за такой минус зачем же хулить самое дело? Ведь это все равно что г. Горький, в последних повестях устами своих героев отрицающий Христа только за то, что Он признавал Кесаря²². Может ли одобрить Горького даже анархист, если он только признает нравственные ценности? Но возвратимся к «Союзу». Что общего между ненавистью и ограничением прав? Ведь одни права имеют дворяне, другие купцы, третьи крестьяне, одни права имеют магистры, другие кандидаты, третьи кадеты²³, четвертые семинаристы; одни права имеют русские, другие татары, третьи евреи. Можно возражать теоретически против современности, практической разумности того или иного распределения прав, но укорять в ненависти зачем? Если говорят об ограничении прав не по высшим мотивам защиты бедных малороссов от еврейских эксплуататоров, а по ненависти к последним, то это действительно скверно, а если патриоты евреев не ненавидят, а любят и жалеют, но не хотят давать рогов бодливой корове, то это разумно, справедливо и гуманно. Ведь вы же <не> толстовец? Не осуждаете ограничение прав преступникам? В таком случае почитать ограничение прав евреев за проступок против морали вы можете лишь в том случае, если опровергнете взгляд на них как на племя в общественной жизни вредное и в экономическом и в нравственном отношении.

Пусть твой «Почаевский союз» хороший, скажут мне; но каковы деятели столичных и других провинциальных секций? Не знаю, я в это дело не вникал, но ведь ко всякому крупному делу привязываются люди нечестные. Где их нет? И разве справедливо по ним судить о самом деле? Разве вы применяете такой способ оценки, напр<имер>, к университету, к кадетскому лидеру, к земству? Если в главари «Союза» по местам попадали люди случайные, то иначе и быть не могло. Оскорбленный народ искал себе предводителей и сватал всякого, кто на

это поддавался. Дело это было — дело народное, а не предпринимателей. Так у нас и первых князей-варягов добывали при Гостомысле. Был ли выбор удачен? История об этом не взывает, а Ал. Толстой сомневается и представляет в своей поэме основателей нашей государственности по меньшей мере тертыми калачами²⁴. И весьма возможно, что так и было: солидные люди больше дома сидят у себя, а начнешь себе искать начальника, так мудрено ли налететь на артиста? Дело заманчивое стоять во главе народа: «пойдем, когда зовут».

Может быть, вы скажете так: допустим, что политическая борьба, даже черносотенная, необходима в настоящее время, но зачем в нее впутывать духовенство? Да, отвечу я, — те духовные лица, которые втянулись в это патриотическое дело в ущерб своим чисто религиозным-обязанностям и, имея дары духа, занимаются делами жизни внешней, хотя бы и тесно связанными с нравственною жизнью народа, они погрешают. Я в число их не вхожу и, может быть, напротив, в том виноват, что слишком мало уделяю внимания насущной жизни, как писал мне в июне некто «Церковник» в «Петербургских ведомостях». Но осудите ли вы того духовного деятеля, который берется за эти дела по безлюдью, потому что народ наш ведь чужой для светской интеллигенции? Пойдите в самый строгий монастырь: пятьдесят монахов молятся и читают слово Божие, а о. эконом с утра до вечера хлопочет о капусте, о луке, о рыбе. Может быть, он всех братии превзошел бы в молитве и созерцании, но ради святого послушания служит трапезам. У нас иереев с монахами пятьдесят тысяч, но, наверно, не насчитаете и тысячи даже и сотни между теми, которые бы сделали свою специальностью русский «Союз». А ведь среди служащих трапезам, и даже во главе их, был и св. Стефан. Не побивайте его камнями осуждения.

Пишу в вагоне железной дороги, в единственном месте моего относительного уединения; уже подошла полночь, и первое письмо пора кончать. Но я ничего еще не сказал о соборности Церкви. Знаете, кто пустил в ход это слово? Ваш покорный слуга. Во всеподданейшем адресе Синода, 1905 года, мною составленном, сказано, что жизнь Церкви происходит по началам соборности, а иерархи суть только исполнители начал соборного духа Церкви. С тех пор это словечко перехватили церковники и противоцерковные либералы и корили им меня как «главного врага соборного начала». Ну как не вспомнить: «И Потока язвительным тоном называют Остзейским баро-

ном»? ²⁵ Во всяком случае задержка собора не от духовных лиц зависит и не от Синода.

Впрочем, всего не перепишешь. Я приглашал весною к себе в Петербург П. Б. Струве для личной беседы, но он не пожелал себя скомпрометировать таким визитом, хотя я тогда же обещал ему напечатать все, что он пожелает увидеть напечатанным из моих слов. Теперь, перечитав письмо, я вижу, что еще не на все ваши намеки ответил; не отказываюсь его продолжать, если пожелаете. Но отчего бы не поставить обмена мыслей так. Ведь я не писал вам: «Любезные авторы “Вех”, я вас приветствую, но зачем вы сидите среди октябристов или кадетов, партий не национальных, Церкви враждебных? Оставьте их и перейдите к монархистам». Я повел с вами дружественную речь о вере и неверии, о нравственном подъеме общества, о принятии на себя злобы и ненависти за возлюбление и прочее. Поверьте, меня все это гораздо более интересует, нежели жизнь политическая. Станьте и вы на такую же внепартийную почву. Я же снова приветствую вас в области этих чистых и святых истин и настроений. Будем, каждый по мере сил, будить в людях совесть, разум, поэзию, затем и чувство религиозное, религиозное сознание.

Предоставьте другим политическую борьбу, будь вы октябристы, или кадеты, или мирнообновленцы. Не нравственные проблемы должны раскрываться под влиянием политических стремлений, но последние должны являться на суд к этическому трибуналу. Да здравствует мораль, философия, поэзия! Да здравствуют те, которые провозгласили верховные права этих начал в общественной жизни.

Да здравствуют те, которые раскрывают неразрывную связь этих начал с религией, и притом с религией живой, исторической, православной! Таких наш народ всегда признает своими, хотя бы они не могли служить ему непосредственно. И, наконец, да будет им безразлично, признают ли их люди или нет, лишь бы их одобряла их совесть, этот голос Божий в Человеке, так постыдно заглушаемый нашими современниками. Но чем хуже эти последние, чем большее значение в их блужданиях приобретает злая воля, тем с большею настойчивостью и сострадательною любовью должны мы идти к ним. Заблуждение рассеивается голосом терпеливого научения, а страдающая любовь сокрушает и злую волю и относит к вам слово Спасителя: «приобрел еси брата твоего» ²⁶.

Я помещаю свой ответ в «Колоколе», не надеясь на согласие вашего «Московского еженедельника» поместить у себя это письмо цельностью, но если бы он или другая какая редакция того пожелала, я буду очень рад.

*(Колокол. 1909. № 1045. 3 (16) сентября.
С. 2—3; № 1046. 4 (17) сентября. С. 2—3)*

